

Оноре де Бальзак

Тридцатилетняя женщина

*Посвящается Луи
Буланже, художнику.*

I. Первые ошибки

В начале апреля 1813 года выдалось воскресное утро, сулившее чудесный день. В такой день парижане впервые после зимней непогоды видят сухие мостовые и безоблачное небо. Около полудня изящный кабриолет, запряжённый парой резвых лошадей, свернул с улицы Кастильоне на улицу Риволи и остановился за вереницей экипажей, у решётки, недавно возведённой возле площадки Фельянов. Правил этой лёгонькой коляской человек, лицо которого носило печать забот и недуга; проседь в волосах, уже редких на темени, отливавшем желтизною, раньше времени старила его; он бросил повод верховому лакею, сопровождавшему коляску, и сошёл, чтобы помочь спуститься прехорошенькой девушке, которая сразу привлекла внимание праздных зрителей. Девушка, ступив на край коляски, обвила руками шею своего спутника, и он перенёс её на тротуар так бережно, что даже не помял отделку на её зелёном репсовом

платье. Влюбленный и тот не проявил бы такой заботливости. Незнакомец, очевидно, был отцом девушки; не поблагодарив, она непринуждённо взяла его под руку и порывисто повлекла в сад. Старик заметил, с каким восхищением смотрят молодые люди на его дочь, и грусть, омрачавшая его лицо, на миг исчезла. Он улыбнулся, хотя уже давно вступил в тот возраст, когда приходится довольствоваться одними лишь призрачными радостями, доставляемыми тщеславием.

— Все думают, что ты моя жена, — шепнул он на ухо девушке и, выпрямившись, зашагал ещё медленнее, что привело её в отчаяние.

Он, видимо, гордился своей дочкой, и его, пожалуй, даже более, чем её, тешили взоры мужчин, скользившие украдкой по её ножкам в тёмно-коричневых прюнелевых туфельках, по хрупкой фигурке, которую облегал изящное платье с вставкой, и по свежей шейке, выступавшей из вышитого воротничка. Поступь девушки была стремительна, оборки её платья то и дело взлетали, на миг показывая округлую линию точёной ноги в ажурном шёлковом чулке. И не один фронт обогнал эту чету, чтобы полюбоваться девушкой, чтобы ещё раз взглянуть на юное личико в рамке разметавшихся тёмных кудрей; оно казалось ещё белее, ещё румянее в отсветах розового атласа, которым был подбит её модный капор, а отчасти и

от того страстного нетерпения, которым дышали все черты прелестного лица. Милое лукавство оживляло прекрасные чёрные глаза её — глаза с миндалевидным разрезом и красиво изогнутыми бровями, осенённые длинными ресницами и блестящие влажным блеском. Жизнь и молодость выставляли напоказ свои сокровища, будто воплощённые в этом своенравном личике и в этом стане, таком стройном, несмотря на пояс, повязанный по тогдашней моде под самой грудью. Девушка, не обращая внимания на поклонников, с какой-то тревогой смотрела на дворец Тюильри, — разумеется, к нему-то и влекло её так неудержимо. Было без четверти двенадцать. Час был ранний, но множество женщин, стремившихся ослепить всех своими нарядами, уже возвращались от дворца, то и дело оборачиваясь с недовольным видом, точно они раскаивались, что опоздали, что не удастся им насладиться зрелищем, которое так хотелось видеть. Прекрасная незнакомка подхватила на лету несколько замечаний, с досадою оброненных разряженными дамами, и они почему-то очень взволновали её. Старик следил скорее проницательным, нежели насмешливым взглядом за тем, как выражение страха и нетерпения сменяется на милом личике его дочери, и, пожалуй, даже чересчур пристально наблюдал за нею: в этом сквозила затаённая отцовская тревога.

То было тринадцатое воскресенье в 1813 году. Через день Наполеон отправлялся в тот роковой поход, во время которого ему суждено было потерять Бесьера, а за ним — Дюрока, выиграть достопамятные битвы при Люцене и Бауцене, увидеть, что его предали Австрия, Саксония, Бавария, Бернадот, и упорно защищаться в жестоком сражении под Лейпцигом. Блестящему параду под командованием императора суждено было стать последним в череде парадов, так долго приводивших в восхищение парижан и чужеземцев. Старая гвардия в последний раз собиралась показать искусство маневров, великолепие и точность которых иной раз изумляли даже самого исполина, готовившегося в те дни к поединку с Европой. Нарядную и любопытную толпу привлекало в Тюильри грустное чувство. Каждый словно предугадывал будущее и, быть может, предвидел, что не раз воображение воспроизведёт в памяти всю эту картину, когда героические времена Франции приобретут, как это случилось ныне, почти легендарный оттенок.

— Ну, пойдёмте же скорее, папенька! — бойко говорила девушка, увлекая за собой старика. — Слышите: бьют в барабаны.

— Войска входят в Тюильри, — отвечал он.

— Или уже прошли церемониальным маршем!.. Все уже возвращаются! — промолвила

она тоном обиженного ребёнка, и старик улыбнулся.

— Парад начнётся лишь в половине первого, — заметил он, еле поспевая за неугомонной дочкой.

Если бы вы видели, как девушка взмахивала правой рукой, то сказали бы, что она помогает себе бежать. Её маленькая ручка, затянутая в перчатку, нетерпеливо комкала носовой платок и напоминала весло, рассекающее волны. Старик порою улыбался, но иногда его измождённое лицо становилось хмурым и озабоченным. Из любви к этому прекрасному созданию он не только радовался настоящему, но и страшился будущего. Он словно говорил себе: «Нынче она счастлива, будет ли она счастлива всегда?» Старики вообще склонны награждать своими горестями будущее людей молодых. Отец и дочка вошли под перистиль павильона, по которому снуют гуляющие, проходя из Тюильрийского сада на площадь Карусели, и здесь, у павильона, в тот час украшенного развевавшимся трёхцветным флагом, они услышали суровый окрик часовых:

— Проход закрыт!

Девушка поднялась на цыпочки, и ей удалось мельком увидеть лишь толпу нарядных женщин, расположившихся вдоль старинной мраморной аркады, откуда должен был появиться император.

— Вот видите, отец, мы опоздали!

Губы у неё горестно сжались, — было ясно, что для неё очень важно присутствовать на параде.

— Что ж, вернёмся, Жюли; ты ведь не любишь давки.

— Останемся, папенька! Я хоть посмотрю на императора, а то, если он погибнет в походе, я так его и не увижу.

Старик вздрогнул при этих словах, полных эгоизма; в голосе девушки слышались слёзы; он взглянул на неё, и ему показалось, что под её опущенными ресницами блеснули слезинки, вызванные не столько досадою, сколько теми первыми печальями, тайну которых нетрудно бывает постичь старику отцу. Вдруг Жюли вспыхнула, и из груди её вырвалось восклицание, смысл которого не поняли ни часовые, ни старик. Какой-то офицер, бежавший к дворцовой лестнице, услышав этот возглас, с живостью обернулся, подошёл к садовой ограде, узнал девушку, на миг заслоненную большими медвежьими шапками гренадёров, и тотчас же отменил для неё и для её отца приказ, запрещавший проход, — приказ, который сам и отдал; затем, не обращая внимания на ропот нарядной толпы, осаждавшей аркаду, он нежно привлёк к себе просиявшую девушку.

— Теперь меня не удивляет, почему она так сердилась и так спешила, — оказывается, ты на

дежурстве, — сказал старик офицеру, полушутя-полусерьёзно.

— Сударь, — отвечал молодой человек, — если вам угодно расположиться поудобнее, не стоит терять время на разговоры. Император ждать не любит; всё готово, и фельдмаршал поручил мне доложить об этом его величеству.

Говоря так, он с дружеской непринуждённостью взял Жюли под руку и быстро повёл к площади Карусели. Жюли с удивлением увидела, что густая толпа затопила всё небольшое пространство меж серыми стенами дворца и тумбами, соединёнными цепями, которые начертили посреди двора Тюильри огромные квадраты, посыпанные песком. Кордону часовых, охранявшему путь императора и его штаба, было нелегко устоять под натиском нетерпеливой толпы, жужжавшей словно пчелиный рой.

— Будет очень красиво, не правда ли? — спросила Жюли, улыбаясь.

— Осторожнее! — крикнул офицер и, обхватив девушку своей сильной рукой, быстро приподнял её и перенёс к колонне.

Если б офицер не проявил такой стремительности, его любопытную родственницу сбил бы с ног, подавшись назад, белый конь под зелёным бархатным чепраком, затканном золотом; его держал под уздцы наполеоновский мамелюк

почти у самой арки, шагах в десяти позади лошадей, оседланных для высокопоставленных офицеров из свиты императора. Молодой человек нашёл место отцу и дочери у первой тумбы справа, напротив толпы, и кивком поручил их двум старым гренадёрам, между которыми они очутились. Офицер шёл во дворец со счастливым и радостным видом, с его лица исчезло испуганное выражение, появившееся на нём, когда конь стал на дыбы. Жюли украдкой пожала ему руку, — то ли в знак благодарности за услугу, которую он только что оказал ей, то ли словно говоря ему: «Наконец-то я вас вижу!» Она слегка склонила голову в ответ на почтительный поклон, который отвесил офицер ей и её отцу, перед тем как уйти. Старик, очевидно, нарочно оставивший молодых людей, всё стоял с задумчивым и строгим видом чуть позади дочери; он тайком наблюдал за нею, хоть и старался не смущать её, прикидываясь, будто всецело поглощен тем великолепным зрелищем, которое представляла собою площадь Карусели. Когда Жюли взглянула на отца, словно школьница, робеющая перед учителем, старик ответил ей добродушной и весёлой улыбкой; однако он не спускал сверлящего взгляда с офицера, пока тот не исчез за аркадой, — ни одна мелочь в этой короткой сценке не ускользнула от него.

— Как красиво! — вполголоса промолвила

Жюли, пожимая руку отца.

Действительно, площадь Карусели являла собою в тот миг живописную и величественную картину, и из тысячеустой толпы зрителей, лица которых выражали восхищение, вырвалось такое же восклицание. Люди теснились и там, где стоял старик с дочерью, и напротив них, на узкой полосе мостовой вдоль решётки, отделяющей Тюильри от площади Карусели. Толпа, пестревшая женскими нарядами, казалась яркой каймой по краям огромного четырёхугольника, вырисованного дворцовыми зданиями и недавно возведенной решеткой. Полки старой гвардии, готовые к смотру, заполняли всё это обширное пространство и были построены прямо против дворца голубыми широкими линиями в десять рядов. По ту сторону ограды и на площади Карусели параллельно им в линейку стояло несколько пехотных и кавалерийских полков, которые должны были пройти церемониальным маршем под триумфальной аркой, воздвигнутой на самой середине решётки; на верхушке арки в те времена виднелись великолепные кони, вывезенные из Венеции. Полковые оркестры, расположенные у Луврской галереи, были заслонены отрядом польских уланов. Почти вся обширная четырёхугольная площадь, засыпанная песком, была пуста; она предназначалась для безмолвного

передвижения войск, симметрично построенных по всем правилам военного искусства; солнечные зайчики отражались и вспыхивали огнями в десяти тысячах трёхгранных штыков. Султаны на солдатских касках, колыхаясь по ветру, клонились, будто лес под порывами урагана. Безмолвные яркие шеренги старых вояк радовали взор великим множеством всевозможных цветов и оттенков, ибо различны были мундиры, выпушки, аксельбанты и оружие. Эта необъятная картина во всех своих деталях, во всём своём своеобразии представлявшая собою в миниатюре поле битвы перед сражением, была живописно обрамлена высокими, величественными зданиями, неподвижности которых, казалось, подражали и офицеры и солдаты. Зритель невольно сравнивал стены, словно возведённые из людей, со стенами, возведёнными из камня. Солнце, щедро лившее свет на белые стены, отстроенные недавно, и на стены, простоявшие века, ярко освещало несметные ряды выразительных смуглых лиц, которые безмолвно повествовали об опасностях минувших, о стойком ожидании опасностей грядущих. Одни лишь командиры прохаживались перед своими полками, состоявшими из испытанных воинов. А дальше, позади войсковых соединений, сверкавших серебром и золотом, отливавших лазурью и пурпуром, любопытные могли заметить

трёхцветные флажки на пиках шести неутомимых польских кавалеристов, которые, подобно сторожевым псам, что бегают вокруг стада на выгонах, без передышки скакали меж войсками и зрителями, не позволяя посторонним переступить узкую полосу, отведённую для публики перед дворцовой решёткой. Не будь их, вы бы, пожалуй, вообразили, что очутились во владениях спящей красавицы. Под вешним ветром шевелился длинный ворс на меховых шапках гренадёров, и это подчёркивало неподвижность солдат, а глухой рокот толпы делал их молчание ещё строже. Порою звенели колокольчики в оркестре да гудел случайно задетый турецкий барабан, и эти звуки, отдавшись глухим эхом в императорском дворце, напоминали отдалённые громовые раскаты, предвещающие грозу. Что-то неопишимо восторженное чувствовалось в ожидании толпы. Франция готовилась к прощанию с Наполеоном накануне кампании, опасность которой предвидел каждый. На этот раз дело шло о самой Французской империи, о том, быть ей или не быть. Мысль эта, казалось, волновала и штатских и военных, волновала всю толпу, в молчании теснившуюся на клочке земли, над которым реяли наполеоновские знамёна и его гений. Солдаты эти — оплот Франции, последняя капля её крови, — вызывали тревожное любопытство зрителей. Большинство

горожан и воинов, быть может, прощались навеки; но все сердца, даже полные вражды к императору, обращали к нему горячие мольбы о славе Франции. Даже люди, измученные борьбой, завязавшейся между Европой и Францией, отбросили ненависть, проходя под Триумфальной аркой, и понимали, что в грозный час Наполеон — олицетворение Франции. Дворцовые куранты пробили полчаса. Толпа тотчас же умолкла; водворилась такая глубокая тишина, что был бы слышен и лепет ребёнка. До старика и его дочери, для которых сейчас ничто не существовало, кроме картины, представшей их взорам, из-под гулких сводов перистиля донёлся звон шпор и бряцание сабель.

И вдруг показался довольно тучный невысокий человек в зелёном мундире, белых лосинах и ботфортах, в неизменной своей треугольной шляпе, обладавшей такою же притягательной силой, как и он сам; на груди его развевалась широкая красная лента ордена Почётного легиона, сбоку висела маленькая шпага. Император был замечен всеми и сразу на всех концах площади. И тотчас же забили «поход» барабаны, оба оркестра грянули одну и ту же музыкальную фразу, воинственную мелодию подхватили все инструменты от нежнейших флейт до турецкого барабана. При этом мощном призыве сердца затрепетали, знамена склонились, солдаты

взяли на караул, единым и точным движением вскинув ружья во всех рядах. От шеренги к шеренге, будто эхо, прокатились слова команды. Возгласы «Да здравствует император!» потрясли воодушевлённую толпу. Вдруг всё тронулось, дрогнуло, всколыхнулось. Наполеон вскочил на коня. Движение это вдохнуло жизнь в немую громаду войск, наделило музыкальные инструменты звучанием, взметнуло в едином порыве знамена и стяги, взволновало лица. Стены высоких галерей старинного дворца, казалось, тоже возглашали: «Да здравствует император!» В этом было что-то сверхъестественное, то было какое-то наваждение, подобие божественного могущества, или, вернее, мимолётный символ этого мимолетного царствования. Человек этот, средоточие такой любви, восхищения, преданности, стольких чаяний, ради которого солнце согнало тучи с неба, сидел верхом на коне шага на три впереди небольшого эскорта из приближённых в расшитых золотом мундирах, с обергофмаршалом по левую руку и дежурным маршалом по правую. Ничто не дрогнуло в лице этого человека, взволновавшего столько душ.

— Ну, конечно, бог ты мой! При Ваграме под пулями, под Москвой среди трупов *он* -то всегда невозмутим.

Так отвечал на многочисленные вопросы

гренадёр, стоявший рядом с девушкой. Она же на миг вся ушла в созерцание императора, спокойствие которого выражало нерушимую уверенность в собственном могуществе. Наполеон заметил мадемуазель де Шатийоне; наклонившись к Дюроку, он что-то отрывисто сказал, и обергофмаршал усмехнулся. Маневры начались. До сих пор внимание девушки раздваивалось между бесстрастным лицом Наполеона и голубыми, зелёными и красными рядами войск; теперь же она почти не сводила глаз с молодого офицера, следя за тем, как он то мчится на своем коне между отрядами старых солдат,двигающихся быстро и точно, то в неудержимом порыве словно летит к той группе, во главе которой блистает своею простотой Наполеон. Офицер этот скакал на превосходной лошади вороной масти, и его красивый мундир небесно-голубого цвета, мундир, отличавший адъютантов императора, выделялся на фоне пёстрой толпы. Золотое шитьё и позументы так ослепительно блестели на солнце, а султан его узкого высокого кивера отражал такой яркий сноп света, что зрители, должно быть, сравнивали его с блуждающим огоньком, с неким духом, получившим от императора повеление оживать, вести батальоны, сверкавшие оружием, когда по одному взгляду властелина они то расступались, то вновь соединялись, то кружились, как валы в

морской пучине, то проносились перед ним, как те отвесные, высокие волны, что катит на берег бушующий океан.

Когда маневры закончились, офицер поскакал во весь опор и остановился перед императором в ожидании приказов. Теперь он был шагах в двадцати от Жюли, против императора и его свиты, и поза его очень походила на ту, какую Жерар придал генералу Раппу на картине «Сражение под Аустерлицем». Девушка сейчас вволю могла любоваться своим избранником во всём его воинском великолепии. Полковнику Виктору д'Эглемону было не более тридцати лет; он был высок, строен и сложен отлично, что особенно бросалось в глаза, когда он проявлял свою силу, управляя лошадью, изящная и гибкая спина которой словно подгибалась под ним. Его мужественное смуглое лицо обладало неизъяснимым очарованием, которое придаёт молодым лицам совершенная правильность черт. У него был широкий и высокий лоб. Брови у него были густые, ресницы длинные, и огненные глаза казались двумя светлыми овалами, обведёнными чёрными штрихами. Красива была линия его орлиного носа с горбинкой. Над алыми губами вились неизбежные чёрные усы. Смуглый румянец, игравший на его полных щеках, говорил о незаурядной силе. Это было лицо, отмеченное

печатью отваги, и принадлежало оно к тому типу, который ныне пытается найти художник, задумав изобразить героя наполеоновской Франции. Взмыленный конь в нетерпении тряс гривой, но стоял на месте как вкопанный, расставив передние ноги и помахивая длинным густым хвостом; его преданность господину являла собою живое олицетворение той преданности, которую сам полковник д'Эглемон питал к императору. Жюли, видя, что её возлюбленный только и думает, как бы поймать взгляд Наполеона, почувствовала досаду, вспомнив, что на неё-то он не посмотрел ни разу. Вот властелин что-то сказал, и Виктор, прищпорив коня, уже мчится галопом; но тень, отброшенная тумбой на песок, пугает коня, он растерянно пятится и вдруг встаёт на дыбы, и всё это происходит так неожиданно, что всаднику, кажется, грозит опасность. Жюли вскрикивает, бледнеет; все оглядываются на неё с любопытством; она никого не видит, её глаза прикованы к разгорячённому коню, которого на всём скаку укрощает офицер, торопясь передать приказ императора. Эта волнующая картина так потрясла Жюли, что она безотчётно впилась пальцами в руку отца, невольно открывая ему свои мысли. В тот миг, когда лошадь чуть было не сбросила Виктора, Жюли так порывисто схватила руку отца, точно ей самой угрожала опасность. Старик взглядывался с

мрачным беспокойством в сияющее личико дочери, в каждой его морщинке чувствовались отцовская ревность и тоска. Когда же глаза Жюли, горевшие лихорадочным блеском, вскрик её и судорожные движения пальцев окончательно разоблачили тайную любовь её, перед ним, очевидно, предстало печальное будущее дочери, ибо взор его стал угрюмым. В те мгновения душа Жюли как будто слилась с душою офицера. Страдальческое лицо старика помрачнело от какой-то мысли, ещё более горестной, нежели все те, что так его тревожили: он увидел, что д'Эглемон, проезжая мимо, обменивается понимающим взглядом с Жюли, что глаза её влажны, а щеки пылают необычайно ярким румянцем. Он внезапно повёл дочь в Тюильрийский сад.

— Но ведь на площади Карусели ещё стоят войска, отец, — говорила она, — они будут маневрировать.

— Нет, дитя моё, все войска уже проходят.

— Мне кажется, вы ошибаетесь, отец: господин д'Эглемон должен их повести...

— Мне нехорошо, деточка, и я не хочу оставаться.

Жюли трудно было не поверить отцу, когда она взглянула на его лицо: старик был совсем подавлен своими тревогами.

— Вам дурно? — спросила она безразличным

тоном, — так была она занята своими мыслями.

— Ведь каждый прожитый день для меня — милость, — ответил старик.

— Опять вам вздумалось наводить на меня тоску разговорами о смерти! Мне было так весело! Да прогоните же свои противные мрачные мысли!

— Ах, балованное дитя! — воскликнул, вздыхая, отец. — Даже наидобрейшие сердца бывают иногда жестоки. Значит, напрасно мы посвящаем вам свою жизнь, думаем лишь о вас, заботимся о вашем благе, жертвуем своими вкусами ради ваших причуд, обожаем вас, готовы отдать вам даже кровь свою! Увы! Всё это вы беспечно принимаете. Надобно обладать всемогуществом господя бога, чтобы навсегда завоевать вашу улыбку и вашу пренебрежительную любовь. И вот является чужой! Возлюбленный, муж похищает у нас ваше сердце.

Жюли удивлённо взглянула на отца: он шагал медленно и порой смотрел на неё потухшими глазами.

— Вы даже таитесь от нас, а впрочем, может быть, и от себя.

— О чём вы говорите, отец?

— Жюли, ты, кажется, что-то скрываешь от меня. Ты влюблена, — с живостью продолжал старик, заметив, что дочка покраснела. — А я-то надеялся, что ты будешь верна своему старому отцу

до самой его смерти, я-то надеялся, что ты будешь довольна и счастлива рядом со мной, что я буду любоваться тобою, той Жюли, какою ты была ещё совсем недавно. Не ведая твоей судьбы, я ещё мог мечтать о твоём будущем, но теперь уже не унести мне с собой надежду на счастье для тебя... Ты любишь в д'Эглемоне не кузена, а полковника. Сомнений больше нет.

— Отчего же мне нельзя любить его? — воскликнула девушка с выражением живейшего любопытства.

— Ах, Жюли, тебе не понять меня! — ответил, вздыхая, отец.

— Всё равно, скажите, — возразила она своевольным тоном.

— Хорошо же, доченька, послушай меня. Девушки частенько грезят благородными, восхитительными образами, какими-то идеальными существами, и головы их набиты туманными представлениями о людях, о чувствах, о свете; затем они в простоте души наделяют самого заурядного человека теми совершенствами, о которых мечтали, и доверяются ему: они любят в своём избраннике воображаемое создание, а в конце концов, когда уже поздно отвести от себя беду, обманчивое очарование, которым они наделили свой кумир, превращается в страшный призрак. Жюли, я бы предпочёл, чтобы ты

влюбилась в какого-нибудь старика, чем в полковника д'Эглемона. О, если б ты могла предвидеть, что станется с тобою лет через десять, ты бы воздала должное моей опытности! Виктора я знаю: он весел, но не остроумен, весел по-казарменному, он бездарен и расточителен. Таких людей небо сотворило лишь для того, чтобы они четыре раза в день плотно ели и переваривали пищу, спали, любили первую попавшуюся красотку и сражались. Жизни он не знает. По доброте сердечной — а сердце у него доброе — он, пожалуй, отдаст свой кошелёк бедняку, приятелю; но он беспечен, но у него нет чуткости, которая делает нас рабами счастья женщины; но он невежда, себялюбец... Есть много «но»...

— Однако ж, отец, он, стало быть, и умён и талантлив, раз стал полковником...

— Милочка, Виктор всю свою жизнь проведёт в полковниках. Я ещё не встречал человека, на мой взгляд, достойного тебя, — возразил отец с каким-то одушевлением. Он умолк, посмотрел на дочь, потом продолжал: — Да, бедная моя Жюли, ты ещё чересчур молода, чересчур бесхарактерна, чересчур мягка, ты не перенесёшь всех горестей и тягот брака. Родители избаловали д'Эглемона так же, как мы с твоей матерью избаловали тебя. Нечего и надеяться, что вы поймёте друг друга, ибо у каждого из вас свои причуды, а причуды —

неумолимые тираны. Ты станешь либо жертвой, либо деспотом. И та и другая возможность в равной степени калечит жизнь женщины. Но ты кротка и скромна, ты сразу покоришься. Наконец, в тебе есть, — добавил он взволнованным голосом, — та тонкость чувства, которая не найдёт отклика, и тогда...

Он не закончил, его душили слёзы.

— Виктор оскорбит твою непорочную душу, — продолжал он, помолчав. — Я знаю военных, милое моё дитя: я жил среди них. Редко случается, что сердце таких людей в силах восторжествовать над привычками, порождёнными то ли опасностями, которые их подстерегают, то ли случайностями походной жизни.

— Так вы намерены, отец, — заметила Жюли полушутя-полусерьёзно, — перечить моим чувствам и выдать меня замуж не ради моего счастья, а ради вашего!

— Выдать тебя замуж ради своего счастья?! — воскликнул отец удивлённо, всплеснув руками. — Мне ли думать о счастье, дочь моя? Ведь скоро ты уже не будешь слышать моего дружеского брюзжания. Я всегда замечал, что дети приписывают эгоизму все жертвы, которые приносят им родители! Выходи за Виктора, моя девочка. Наступит день, и ты станешь горько сетовать на его ничтожество, на его безалаберность,

себялюбие, грубость, его нелепые понятия о любви и на множество иных огорчений, какие он причинит тебе. Тогда вспомни, что под этими деревьями пророческий голос старого отца втуне взывал к твоему сердцу.

Старик умолк, заметив, что дочь упрямо качает головой. Они направились к решётке, у которой их ждала коляска. Шли они молча, девушка украдкой поглядывала на отца, и с её личика постепенно исчезало сердитое выражение. Старик опустил голову, и глубокая печаль, написанная на его лице, произвела на неё сильное впечатление.

— Обещаю вам, батюшка, — произнесла она кротким, дрогнувшим голосом, — не упоминать о Викторе до тех пор, покамест вы не отбросите своё предубеждение против него.

Старик удивлённо взглянул на дочь. Слезы катились по его морщинистым щекам. Он не мог поцеловать Жюли на глазах толпы, теснившейся вокруг них, и только ласково пожал ей руку. Когда он сел в коляску, мрачные складки, бороздившие перед этим его лоб, разгладились. Унылый вид дочери не так тревожил его, как та невинная радость, тайную причину которой Жюли выдала во время парада.

В первых числах марта 1814 года, — прошло

меньше года после наполеоновского парада, — по дороге от Амбуаза к Туру мчалась карета. Она только что выехала из-под зелёных шатров ореховых деревьев, заслонявших почтовую станцию Фрильер, и понеслась так быстро, что мигом долетела до моста, перекинутого через Сизу в том месте, где она впадает в Луару, и вдруг остановилась. Оказалось, что лопнули постромки: по приказанию ездока молодой возница слишком быстро гнал четвёрку могучих перекладных. Благодаря этой случайности два путника, ехавшие в карете, проснулись и могли полюбоваться одним из самых красивых ландшафтов, какой только встретишь на пленительных берегах Луары. Направо перед взором путешественника — излучины реки Сизы, извинаящейся серебристой змейкой среди лугов, в ту пору зеленевших первой весенней муравой. Слева видна величавая широкая Луара. Дул свежий утренний ветерок, вода почти сплошь была подернута рябью, и по ней рассыпались блестящие солнечные лучи. Тут и там на водной глади растянулись цепочкой зелёные островки, будто изумруды в ожерелье. На другом берегу живописно раскинулись необозримые плодородные равнины Турени. Даль беспредельна, и только Шерские холмы, вершины которых в то утро чётко вырисовывались в прозрачной лазури небес, преграждают путь взору. Смотришь сквозь нежную

листву деревьев поверх островов на эту панораму, и кажется, что Тур, подобно Венеции, возникает из лона вод. Колокольни его древнего кафедрального собора устремляются ввысь, — в тот час они сливались с причудливо очерченными белыми облачками. С того места, где остановилась карета, путешественнику видна гряда скал, протянувшаяся вдоль Луары до самого Тура, и ему представляется, что природа нарочно возвела её, чтобы укрепить берег реки, волны которой беспрерывно подтачивают камень; картина эта всегда приводит путника в изумление. Деревенька Вувре уютится среди оползней в ущелье скалистой гряды, образующей изгиб у моста через Сизу. А дальше, от Вувре до Тура, опасные, неровные уступы этого выветренного горного кряжа заселены виноградарями. В иных местах дома в три яруса выдолблены в скале и соединены головокружительными лестницами, тоже высеченными в камне. Вот девушка в красной юбке бежит прямо по крыше к себе в сад. Дым из очага вьётся между виноградными лозами и молодыми побегами. Арендаторы возделывают поля, разбросанные по крутизне. Старуха спокойно сидит за прялкой на обломке рухнувшей глыбы под цветущим миндальным деревом и наблюдает за пешеходами, посмеиваясь над их ужасом. Её не тревожат ни трещины в земле, ни то, что вот-вот

обвалится нависшая ветхая стена, каменную кладку которой теперь поддерживают лишь узловатые корни плюща, ковром закрывшего стену. Под сводами пещер гулко раздаётся стук молотков: то работают бондари. Каждый клочок земли возделан, почва плодородна, хотя природа здесь и отказала человеку в земле. По всему течению Луары не найти уголка, который мог бы сравниться с тем роскошным ландшафтом, что открывается отсюда взору путника. Три плана этой панорамы, описанной тут лишь вскользь, производят на душу неизгладимое впечатление, а если насладился ими поэт, то потом, в грёзах, они часто будут ему представляться словно наяву, со всем своим несказанным романтическим обаянием. В тот миг, когда карета въехала на мост через Сизу, несколько лодок с белыми парусами стайкой выплыли из-за островков на Луаре, и это ещё больше украсило прелестный пейзаж. Ивы, растущие вдоль реки, благоухали, и влажный ветерок разносил их терпкий запах. Слышалось разноголосое пение птиц; унылая песенка пастуха навевала тихую печаль, а крики лодочников возвещали о том, что где-то поодаль кипит жизнь. Лёгкие хлопья тумана, прихотливо повисшие на деревьях, разбросанных по долине, завершали эту чудесную картину, придавая ей какое-то особенное очарование. То была Турень во всей своей красе, то была весна во

всём своём великолепии. Только в этой части Франции — в единственном месте, покой которого не суждено было нарушить иностранным войскам, — только здесь и было тихо, и казалось, что Турень не боится вторжения.

Экипаж остановился, и сейчас же из окна высунулась чья-то голова в фуражке; какой-то военный резким движением распахнул дверцы кареты и выскочил на дорогу, разумеется, намереваясь отчитать возницу, но туренец так умело чинил постромку, что полковник — это был граф д'Эглемон — успокоился и подошёл к дверце экипажа, потягиваясь и расправляя затёкшие руки; он зевнул и, оглядев окрестности, тронул за плечо молодую женщину, заботливо укутанную в меховую шубу.

— Проснись, Жюли, — сказал он охрипшим голосом, — погляди. Великолепный вид!

Жюли выглянула из кареты. На ней была кунья шапочка, а складки меховой шубки, в которую она куталась, совсем скрывали её фигуру, виднелось только лицо. Жюли д'Эглемон уже не была похожа на ту весёлую, счастливую девушку, что так спешила на парад в Тюильри. Уже не было на её щеках, по-прежнему нежных, тех розовых красок, которые когда-то придавали им такую свежесть. Несколько чёрных прядок, развившихся от ночной сырости, подчеркивали матовую белизну

её лица, живость которого угасла. Однако взор её горел каким-то странным огнём, а под глазами, на впалых щеках, лежали синеватые тени. Она с безразличным видом оглядела равнины Шера, Луару и островки на ней, Тур и длинную цепь скал Вувре, потом, даже не взглянув на восхитительную долину Сизы, отпрянула в глубь кареты, и её слабый голос прозвучал на открытом воздухе чуть слышно:

— Да, чудесный вид!

Она, следовательно, на своё несчастье, одержала верх над отцом.

— Жюли, тебе не хотелось бы жить здесь?

— Не всё ли равно, где жить, — безучастно заметила она.

— Тебе нездоровится? — спросил полковник д'Эглемон.

— Да нет же, — ответила молодая женщина, сразу оживившись. Она улыбнулась, посмотрела на мужа и добавила: — Просто спать хочется.

Вдруг раздался стук копыт: кто-то мчался галопом. Виктор д'Эглемон выпустил руку жены и обернулся, глядя на дорогу, в ту сторону, где она делает поворот. Лишь только полковник отвёл взгляд от Жюли, весёлое выражение исчезло с её бледного лица, будто его перестал освещать какой-то внутренний свет. Ей не хотелось смотреть на пейзаж, не хотелось знать, что это за всадник,

чей конь скачет так неистово; она забилась в уголок и без мыслей, без чувств устремила неподвижный взгляд на лошадей. У неё был такой же тупой вид, какой бывает у бретонского крестьянина, когда он слушает проповедь священника. Вдруг из тополевой рощи и зарослей цветущего боярышника показался молодой человек на породистом коне.

— Это англичанин, — произнёс полковник.

— Ей-богу, верно, ваше сиятельство, — заметил возница. — Знаем мы этих молодчиков, они так и норовят сожрать Францию.

Незнакомец был одним из тех путешественников, которые находились на континенте в ту пору, когда Наполеон велел арестовать всех англичан; то было возмездие за посягательство на права французов, допущенное английским правительством при разрыве Амьенского договора. По прихоти императора пленники, однако, не остались в тех краях, где они были задержаны или где им сначала разрешили жить по их выбору. Большинство англичан было переправлено с разных концов империи в Турень, ибо считалось, что их пребывание в других местностях может повредить интересам континентальной политики. Молодой пленник, старавшийся рассеять в то утро свой сплин, был жертвой этого бюрократического мероприятия. Два года назад по милости министерства внешних

сношений ему пришлось расстаться с мягким климатом Монпелье, где его застал разрыв мирного договора и где он искал исцеления от болезни лёгких. Как только молодой человек распознал в графе д'Эглемоне военного, он поспешно перевёл взгляд и, резко отвернувшись, стал смотреть на луга, раскинувшиеся вдоль Сизы.

— Пренагло ведут себя эти англичане; воображают, будто весь земной шар принадлежит им! — проворчал полковник. — Погодите, Сульт задаст им жару.

Пленник проскакал мимо кареты и заглянул в неё. Взгляд был мимолётен, но англичанина поразило печальное выражение на задумчивом лице графини, придававшее ей неизъяснимое очарование. Нередко встречаются мужчины, которых глубоко трогает страдальческий вид женщины; им кажется, что печаль — порука постоянства в любви. Жюли задумалась, глядя в одну точку, и не обратила внимания ни на коня, ни на всадника. Постромку починили быстро и прочно. Граф сел в карету. Возница, стараясь наверстать потерянное время, мчал путешественников по насыпи, тянувшейся вдоль нависших скал, над которыми по склону горы зреет виноград, лепится столько прелестных домиков и видны развалины знаменитого монастыря Мармутье, обители св. Мартина.

— Что нужно этому тщедушному лорду! — воскликнул полковник, обернувшись и заметив, что всадник, скачущий за каретой от самого моста, — тот самый молодой англичанин, которого они уже повстречали.

Незнакомец не нарушал приличий, — он ехал по самому краю насыпи, поэтому полковник, бросив на англичанина угрожающий взгляд, откинулся на спинку сиденья. Но, несмотря на неприязненное чувство, он отметил про себя, что лошадь красива, а всадник ловок. Молодой человек был из породы тех британцев, лица которых отличаются белой, холёной кожей и до того нежным румянцем, что иной раз так и хочется спросить: а не лицо ли это какой-нибудь хрупкой девицы? Он был белокур, высок и строен; на его костюме лежал тот отпечаток изысканности и аккуратности, который присущ щёголям чопорной Англии. Краснел он, глядя на графиню, пожалуй, скорее от застенчивости, нежели от приятного волнения. Жюли всего лишь раз бросила взгляд на незнакомца, да и то её чуть не принудил к этому муж, который хотел, чтобы она полюбовалась чистокровной лошадью. Глаза Жюли встретились тогда с глазами робкого англичанина. С этой минуты всадник уже не скакал рядом с каретой, а следовал за ней на некотором расстоянии. Графиня еле взглянула на незнакомца. Она не обратила

внимания ни на породистого коня, ни на внешность всадника, о которых ей толковал муж, и откинулась на сиденье, чуть поведя бровью в знак согласия. Полковник снова заснул; супруги доехали до Тура, не обменявшись ни словом, и ни разу восхитительные пейзажи, расстилавшиеся вокруг, не привлекли внимания Жюли. Пока г-н д'Эглемон дремал, она подолгу всматривалась в него. Когда же она взглянула на него в последний раз, карету подбросило, медальон, висевший на чёрной ленточке, повязанной вокруг шеи молодой женщины, упал к ней на колени, и перед Жюли вдруг предстало лицо её отца. Из глаз её хлынули долго сдерживаемые слёзы. Ветер осушил их, но англичанин, вероятно, заметил влажные и блестящие следы слез на бледных щеках графини. Полковник д'Эглемон, посланный императором с приказом к маршалу Сульту, которому должно было защитить Францию от вторжения, предпринятого англичанами в Беарне, воспользовался поручением, чтобы избавить жену от опасностей, угрожавших в те дни Парижу, и вёз её в Тур к своей старой родственнице. Вскоре карета въехала в город, покатила по мосту, потом по Главной улице и остановилась у старинного особняка, где жила бывшая маркиза де Листомэр-Ландон.

Маркиза де Листомэр-Ландон была одной из

тех красивых, бледных, седовласых, улыбающихся тонкой улыбкой старух, которые украшают голову неслыханными чепцами и, кажется, ещё носят фижмы. Эти старые дамы, семидесятилетние портреты эпохи Людовика XV, почти всегда ласковы, будто сердца их ещё способны любить, не так благочестивы, как набожны, и не так набожны, как это кажется; от них всегда веет запахом пудры «марешаль»; они отлично рассказывают, а ещё лучше беседуют и охотнее смеются какому-нибудь воспоминанию, чем шутке. Современность им не по душе.

Когда старая горничная доложила маркизе (скоро ей должны были вернуть титул) о приезде племянника, — а они не виделись с самой испанской войны, — она поспешно сняла очки, захлопнула «Галерею старого двора», свою любимую книгу, затем с удивительным для её лет проворством спустилась на крыльцо — как раз в тот миг, когда Жюли с мужем поднимались по ступеням.

Тетка и племянница обменялись быстрыми взглядами.

— Здравствуйте, дорогая тётушка, — крикнул полковник, порывисто обнимая и целуя старуху. — Я привёз вам одну молодую особу. Возьмите её под своё крылышко. Собираюсь доверить вам своё сокровище. Моя Жюли не ведает ни ревности, ни

кокетства, она ангел кротости... И здесь она, надеюсь, не испортится, — заключил он неожиданно.

— Вот ведь негодник! — ответила маркиза, бросив на него насмешливый взгляд.

Она первая с какой-то благосклонной любезностью вызвалась поцеловать Жюли, которая была всё так же задумчива; лицо её выражало скорее смущение, чем любопытство.

— Давайте же знакомиться, душенька, — промолвила маркиза. — Не пугайтесь меня; право, в обществе людей молодых я всегда стараюсь не быть старухой.

По обычаю, заведённому в провинции, маркиза, прежде чем провести племянника с женой в гостиную, велела было приготовить для них завтрак, но граф прервал поток её красноречия, с важностью заявив, что времени у него в обрез, — только пока перепрягают лошадей на станции. Поэтому все трое поспешили в гостиную, и полковник едва успел рассказать своей двоюродной тётке о политических и военных событиях, которые заставляли его просить приюта для молодой жены. Пока он рассказывал, тётка поглядывала то на племянника, говорившего без умолку, то на племянницу и решила, что причина её грусти и бледности — вынужденная разлука. У маркизы был такой вид, точно она говорила себе: «Они

влюблены друг в друга».

Со старого двора, вымощенного камнем и кое-где поросшего травой, донеслось щёлканье бича. Виктор ещё раз поцеловал маркизу и быстро пошёл прочь.

— Прощай, моя дорогая! — сказал он, обнимая жену, которая проводила его до кареты.

— Ах, позволь проводить тебя хоть немножко, Виктор, — ласково говорила она, — мне так не хочется расставаться...

— Полно! Куда тебе ехать!

— Тогда прощай, — ответила Жюли, — будь по-твоему.

Карета скрылась.

— Так, значит, вы очень любите моего милейшего Виктора? — спросила маркиза племянницу, бросив на неё мудрый, испытующий взгляд, каким старые женщины нередко смотрят на молодых.

— Увы, сударыня, — ответила Жюли, — кто же выходит замуж, не любя?

Наивность, с какой были произнесены эти слова, явно говорила о нравственной чистоте Жюли или же о чём-то сокровенном. И трудно было подруге Дюкло и маршала Ришелье удержаться и не разведать тайну молодой четы. Обе женщины стояли у ворот и следили за удаляющейся каретой. Взор Жюли не выражал любви в том смысле, как

понимала это маркиза. Почтенная дама была уроженкой Прованса, и страсти её были пылки.

— Как же вы попались в сети моему племяннику-повесе? — спросила она у племянницы.

Жюли невольно вздрогнула, ибо по тону и взгляду старой кокетки она поняла, что маркиза отлично знает нрав Виктора, быть может, лучше, чем она сама. Г-жа д'Эглемон была встревожена и неловко пыталась скрыть свои чувства: скрытность — единственное пристанище для душ чистых и страждущих. Г-жа де Листомэр не стала допытываться, но тешилась мыслью, что в своём уединении развлечётся любовной тайной, ибо, думалось ей, племянница завела какую-то презанятную интрижку. Когда г-жа д'Эглемон очутилась в большой гостиной, обитой штофом, с позолоченным карнизом, когда села перед пылающим камином за китайской ширмой, поставленной тут, чтобы не сквозило, на душе у неё не стало легче. Да и мудро было ощутить радость, глядя на потолок с ветхими лепными украшениями, на мебель, простоявшую здесь целый век. И всё же молодой парижанке было отрадно, что она попала в этот глухой уголок, в эту строгую провинциальную тишину. Она перекинулась несколькими словами с тёткой — той самой тёткой, которой она, как это принято, после свадьбы

написала письмо, — и, умолкнув, сидела, будто слушая оперу. Часа два прошло в полном молчании, достойном монахов-траппистов, и только тут Жюли заметила, что ведёт себя невежливо, вспомнила, что на все вопросы тётки давала лишь сухие, краткие ответы. Из врождённого чувства такта, свойственного людям старого закала, маркиза щадила прихоть племянницы и, чтобы не смущать Жюли, занялась вязанием. Правда, до этого она не раз выходила из гостиной — присмотреть, как в «зелёной комнате», которая предназначалась для графини, слуги расставляют вещи; теперь же старуха сидела со своим рукоделием в большом кресле и украдкой поглядывала на молодую женщину. Жюли стало неловко, что она молчит, погрузившись в свои думы, и она попыталась заслужить прощение, пошутив над собой.

— Дорогая крошка, нам-то известна вдовья грусть, — ответила г-жа Листомэр.

Только в сорок лет можно было бы угадать иронию, которая скрывалась за словами престарелой дамы. Наутро Жюли чувствовала себя гораздо лучше, она стала разговорчивей. Г-жа де Листомэр уже не сомневалась, что приручит молодую родственницу, которую сначала сочла за существо нелюдимое и недалёкое; она занимала её разговорами о здешних развлечениях, о балах, о домах, которые можно посещать. Все вопросы

маркизы в тот день были просто-напросто ловушками, которые она по старой привычке, присущей придворным, не могла не расставлять, стремясь распознать характер племянницы. Жюли ни за что не соглашалась, хотя её уговаривали несколько дней, поехать куда-нибудь развлечься. Почтенной даме очень хотелось показать знакомым свою хорошенькую племянницу; но в конце концов ей пришлось отказаться от намерения вывезти Жюли в свет. Своё стремление к одиночеству, свою печаль графиня д'Эглемон объясняла горем: смертью отца, траур по которому она ещё носила. Не прошло и недели, а вдова уже восхищалась ангельской кротостью, изяществом, скромностью и уступчивым характером Жюли, и ей не давала покоя мысль о том, что за тайная печаль подтачивает это юное сердце. Жюли принадлежала к числу женщин, которые рождены для того, чтобы их любили: они дают радость. Её общество стало настолько приятно, настолько дорого г-же де Листомэр, что она без памяти полюбила племянницу и уже мечтала с нею никогда не расставаться. Месяца было достаточно, чтобы между ними возникла дружба навеки. Старуха не без удивления заметила, как изменилась г-жа д'Эглемон: румянец, пылавший на её щеках, незаметно исчез, яркие краски сменила матовая бледность, зато Жюли была уже не такой грустной.

Иной раз вдове удавалось развеселить свою молодую родственницу, и тогда Жюли заливалась весёлым смехом, но его сейчас же обрывала какая-то тягостная мысль. Старуха угадала, что глубокое уныние, омрачающее жизнь её племянницы, вызвано не только воспоминанием об отце и не разлукой с Виктором; у неё возникло так много подозрений, что ей стало трудно найти истинную причину недуга, ибо истину мы, пожалуй, угадываем лишь случайно. И вот однажды Жюли будто совсем забыла о том, что она замужем, и развеселилась, словно беспечная девушка, изумив маркизу наивностью своих помыслов, детскими шалостями, сочетанием тонкого остроумия и глубокомыслия, свойственным юной француженке. Г-жа де Листомэр решила выпытать тайну этой души, удивительная непосредственность которой уживалась с непроницаемой замкнутостью. Смеркалось; женщины сидели у окна, выходявшего на улицу; Жюли опять погрузилась в задумчивость; мимо проехал всадник.

— Вот одна из ваших жертв, — заметила старуха.

Г-жа д'Эглемон взглянула на тётку с недоумением и тревогой.

— Это молодой англичанин, дворянин, уважаемый Артур Ормонт, старший сын

лорда Гренвиля. С ним случилась прелюбопытная история. В тысяча восемьсот втором году он по совету врачей приехал в Монпелье, надеясь, что воздух тех краёв исцелит его от тяжёлой грудной болезни, — он был почти при смерти. А тут началась война, и, как все его соотечественники, он был арестован по приказу Бонапарта: ведь этот изверг жить не может без войны. И молодой человек от скуки стал изучать свою болезнь, которая считалась неизлечимой. Мало-помалу он увлёкся анатомией, медициной и пристрастился к наукам этого рода, что весьма удивительно для человека знатного; впрочем, ведь увлекался же Регент химией! Словом, господин Артур добился успехов, удивлявших даже профессоров в Монпелье; занятие наукой скрасило ему жизнь в плену, да к тому же он совершенно излечился. Рассказывают, что он два года ни с кем не разговаривал, дышал размеренно, спал в хлеву, пил молоко от коровы, вывезенной из Швейцарии, и питался одним кресс-салатом. Теперь он живёт в Туре и нигде не бывает; он спесив, как павлин; но вы, спору нет, одержали над ним победу: ведь, конечно, не ради меня он проезжает под нашими окнами по два раза в день с той поры, как вы здесь... Разумеется, он влюблён в вас!

Слова эти оказали какое-то магическое действие на Жюли. Она всплеснула руками, и её

усмешка поразила вдову. Ничего похожего на то невольное удовольствие, которое испытывает всякая женщина, даже самых строгих правил, когда узнает, что кто-то чахнет от любви к ней, не отразилось в померкшем, холодном взгляде Жюли. На её лице было написано отвращение, чуть ли не ужас. Не так отвергает весь мир женщина ради одного, любимого: тогда она готова шутить и смеяться; нет, сейчас Жюли походила на человека, у которого сжимается сердце от одного воспоминания о недавней опасности. Маркиза, уже убедившаяся в том, что Жюли не любит её племянника, была поражена, когда поняла, что она не любит никого. Вдова вздрогнула от мысли, что сердце молодой женщины разочаровано, что ей достаточно было одного дня, быть может, одной ночи, чтобы убедиться в том, что за ничтожество Виктор.

«Ежели она раскусила его, то всё само собой разумеется, — думала она. — Племянничек скоро почувствует все тяготы супружества».

Тогда г-жа де Листомэр решила переубедить Жюли и внушить ей взгляды века Людовика XV; но прошло несколько часов, и она поняла, или, скорее, угадала, что Жюли повергли в печаль обстоятельства, весьма нередкие в свете. Жюли вдруг впала в задумчивость и удалилась к себе раньше обычного. Горничная помогла ей раздеться,

всё привела в порядок и ушла, а Жюли, оставшись у камина, прилегла на жёлтую бархатную кушетку, старинную кушетку, на которой всегда так уютно бывает человеку — и в горе и в радости; поплакав и повздыхав, она долго о чём-то размышляла; затем придвинула к себе столик, достала бумагу и принялась писать. Быстро летели часы; признание, которое Жюли делала в письме, казалось, стоило ей дорого: над каждой фразой она долго сидела в раздумье; вдруг молодая женщина залилась слёзами и бросила перо. Пробыло два часа. Её голова бессильно, как у умирающей, склонилась на грудь; когда же она подняла её, то увидела тётку, которая появилась неожиданно, словно от гобелена, висевшего на стене, отделилась фигура.

— Что с вами, крошка моя? — спросила маркиза. — Кто так поздно засиживается и, главное, кто в вашем возрасте грустит в одиночестве?

Сев без всякой церемонии возле племянницы, она пожирала глазами начатое письмо.

— Вы пишете мужу?

— Ведь я не знаю, где он, — ответила графиня.

Тётка взяла письмо и принялась читать. Она не без умысла захватила с собой очки. Жюли безропотно позволила ей взять письмо. Не оттого, что ей не хватало собственного достоинства, не

оттого, что она испытывала чувство какой-то вины, стала она такой безвольной: нет, старуха появилась в одну из тех минут, когда душа опустошена, когда ей всё безразлично: и добро и зло, и молчание и откровенность. Подобно добродетельной девушке, которая пренебрежительно держится с возлюбленным, а вечером, чувствуя себя покинутой и одинокой, тоскует о нём и жаждет излить кому-нибудь свои страдания, Жюли позволила старухе, не говоря ни слова, сорвать ту печать, которую вежливость накладывает на незапечатанное письмо, и сидела, задумавшись, пока маркиза читала:

«Моя дорогая Луиза! К чему ты уже столько раз просишь меня выполнить обещание, которое так неосторожно могут дать друг другу только две наивные девушки? Ты всё спрашиваешь, почему я полгода не отвечаю на твои вопросы. Если тебе было непонятно моё молчание, то сегодня, быть может, ты догадаешься о его причине, узнав тайну, которую я тебе открою. Я бы навсегда похоронила её в глубине сердца, если бы ты не сообщила мне о своём предстоящем замужестве. Ты выходишь замуж, Луиза! При этой мысли меня охватывает дрожь. Что ж, бедняжка моя, выходи; через несколько месяцев ты с горьким сожалением будешь вспоминать о том, какими мы были прежде,

в тот вечер в Экуэне, когда мы поднялись с тобой вдвоём до самых больших дубов на горе, любовались оттуда прекрасной долиной, лежавшей у наших ног, восхищались закатом и нас озаряли последние лучи солнца. Мы уселись на большом камне, и нас охватил бурный восторг, а его сменила тихая печаль. Ты первая сказала, что далёкое солнце говорит нам о будущем. Как мы были тогда любопытны, как безрассудны! Помнишь наши проказы? Мы обнялись, — „как влюбленные“, шутили мы. Мы поклялись, что та из нас, кто первая выйдет замуж, откровенно расскажет другой о тайнах брака, о тех радостях, которые так манили наши младенческие души. Как ты будешь страдать, Луиза, вспоминая об этом вечере! В ту пору ты была молода, красива, беззаботна, даже счастлива. Замужество в несколько дней превратит тебя, как превратило меня, в некрасивую, большую, увядающую женщину. Было бы нелепо рассказывать тебе о том, как я гордилась, как радовалась тому, что буду женой полковника Виктора д'Эглемона. Да и вряд ли я могла бы рассказать, я сама себя не помнила. Прошло немного времени, и ребячество это стало сном. Я так вела себя в торжественный день освящения брачных уз, бремени которых я не сознавала, что не обошлось без замечаний. Отец не раз пытался поубавить мою весёлость, потому что я слишком

уж бурно выражала свою радость, а это считается неприличным, и мою болтовню готовы были истолковать в дурную сторону, а ведь в ней не было ничего дурного. Чего только не выделывала я с подвенечной фатой, цветами, платьем! Вечером меня торжественно ввели в спальню и оставили одну, а я стала придумывать, как бы посмешить и подразнить Виктора; пока я ждала его, сердце у меня колотилось, как, бывало, колотилось когда-то, в канун праздничной встречи Нового года, когда я украдкой пробиралась в гостиную, где лежали горы подарков. Вошёл муж и стал искать меня, я рассмеялась, и смех, приглушённый свадебной фатой, был последним отзвуком простодушного веселья наших детских лет...»

Вдова прочла письмо, которое, судя по началу, должно было содержать немало грустных наблюдений, не спеша положила очки на стол, а рядом с ними письмо и устремила на племянницу ясный взгляд своих зелёных глаз, не потускневших с годами.

— Детка моя, — сказала она, — замужней женщине не пристало так писать девушке; это просто неприлично.

— Я и сама так думаю, — ответила Жюли, прерывая тётку, — и мне было стыдно, пока вы читали.

— Если за столом нам не нравится какое-нибудь блюдо, не должно отбивать к нему охоту у других, дитя моё, — добродушно заметила старуха, — тем более что со времён Евы до наших дней считается, что нет ничего лучше, чем брак. — Помолчав, она спросила: — У вас нет матери?

Жюли вздрогнула, потом медленно подняла голову и сказала:

— В этом году я особенно горевала, что её уже нет со мною. А как виновата я в том, что послушалась отца: ведь он был против моего брака с Виктором!

Графиня взглянула на тётку, и радость осушила её слезы: она заметила, какая доброта озаряет это старческое лицо. Она протянула руку маркизе, которая, казалось, ждала этого, пальцы их сплелись. В этот миг они поняли друг друга.

— Бедная сиротка! — промолвила старая дама.

Слова эти были последним лучом света для Жюли. Ей опять послышался пророческий голос отца.

— Какие у вас горячие руки! Они всегда у вас такие? — спросила маркиза.

— Вот уже с неделю, как меня перестало лихорадить, — ответила Жюли.

— И вы скрывали от меня, что вас лихорадит?

— Да это у меня уже с год, — сказала Жюли,

и в её голосе было что-то тревожное и застенчивое.

— Итак, мой ангел, — продолжала тётка, — всё это время замужество было для вас пыткой?

Молодая женщина не решалась ответить, только молча опустила голову, но весь вид её говорил, что она исстрадалась.

— Вы несчастливы?

— Ах, нет, тётя! Виктор любит, боготворит меня, и я его обожаю. Он такой добрый!

— Вы любите его; но вы его избегаете, не правда ли?

— Да... иногда... Он чересчур пылок.

— И когда вы остаётесь одна, то, вероятно, боитесь, что он вот-вот войдёт?

— К сожалению, боюсь, тётя! Но я, право, очень люблю его.

— Не вините ли вы себя втайне, что не умеете или не можете отвечать на его чувства? Не кажется ли вам порою, что узаконенная любовь более тягостна, нежели преступная страсть?

— О, как это верно! — сказала, плача, Жюли. — Вам понятно всё, что мне самой кажется загадкой. Я стала какой-то бесчувственной. Я ни о чём не думаю... Одним словом, жизнь для меня обуза. Душу мою терзает необъяснимый страх; он леденит мои чувства и повергает меня в какое-то вечное оцепенение. Нет у меня сил жаловаться и нет слов, чтобы выразить свою печаль. Я страдаю и

стыжусь своего страдания, видя, что для Виктора счастье в том, что для меня смерть.

— Ну и вздор, ну и ребячество! — воскликнула старуха, и на её высохшем лице вдруг промелькнула весёлая улыбка — отражение минувших радостей.

— Вот и вы смеётесь! — с отчаянием проговорила молодая женщина.

— Я была такой же, — живо ответила маркиза. — Теперь, в разлуке с Виктором, вы вновь превратились в безмятежную девушку, не ведающую ни блаженства, ни страданий.

Глаза у Жюли расширились, и в них появилось растерянное выражение.

— Вы обожаете Виктора, не правда ли? Но вы бы предпочли быть его сестрой, а не женой; брак ваш неудачен.

— Да, да, тётя. Но почему вы улыбаетесь?

— Вы правы, милочка! Вам не до веселья. Вас ждёт немало бед, если я не возьму вас под защиту, а опытность моя не разгадает несложную причину ваших печалей и огорчений. Мой племянник не заслуживает такого счастья, глупец! В царствование любезного нашего Людовика XV молоденькая женщина, очутись она в вашем положении, не теряла бы времени, она проучила бы супруга за то, что он ведёт себя как солдафон. Себялюбец! И военные-то у этого коронованного

тирана мерзкие невежды! Грубость они считают галантностью; женщин не знают, любить не умеют; они воображают, что раз им суждено завтра пойти на смерть, то сегодня нечего дарить нас почтительным вниманием. В прежние времена умели и любить сильно и идти на смерть, когда надобно. Я переделаю его характер ради вас, моя милая племянница; я положу конец этому досадному, но, пожалуй, естественному разногласию, иначе вы возненавидите друг друга и пожелаете развестись, если только вы, дорогая, не скончаетесь раньше, чем всё это доведёт вас до отчаяния.

Жюли слушала, застыв от изумления, поражённая словами, мудрость которых она скорее угадывала, нежели понимала, и напуганная тем, что её многоопытная родственница повторяет приговор, вынесенный Виктору её отцом, только произносит его в более мягких выражениях. Должно быть, она по какому-то наитию живо представила себе, что ждёт её в будущем, и почувствовала, как тягостны несчастья, которые суждены ей. Она залилась слезами и бросилась в объятия старухе, говоря:

— Будьте же мне матерью!

Вдова не заплакала, ибо после революции у приверженцев старой монархии слёз осталось мало. Сначала любовь, а позднее террор приучили их к самым острым жизненным положениям; поэтому

они хранят при всех треволнениях холодное достоинство и, хотя чувствуют глубоко, не выражают своих чувств в излишних, а всегда соблюдают этикет и ту изысканную сдержанность, которую напрасно отвергают новейшие нравы. Она обняла Жюли, поцеловала её в лоб с той милой ласковостью, которая зачастую присуща скорее манерам и привычкам таких женщин, нежели их сердцу; она успокаивала племянницу нежными словами, сулила ей счастливое будущее и, укладывая её спать, будто свою дочку, свою милую дочку, надеждами и печалью которой она стала жить, баюкала её, пророча любовь, блаженство; в племяннице она увидела себя — молодой, неопытной, красивой. Графиня заснула с радостным чувством, что она обрела друга, мать, которой отныне можно всё рассказывать. Наутро тётка и племянница обнялись с той глубокою сердечностью, с тем понимающим видом, который доказывает, как усилилось чувство, как окрепла близость двух душ; в этот миг послышался конский топот. Они одновременно обернулись и увидели молодого англичанина, который, как всегда, не спеша проезжал по улице. Казалось, он изучил, какой образ жизни ведут затворницы, и никогда не пропускал часа их завтрака или обеда. Лошадь сама замедляла шаг, не было надобности приостанавливать её; проезжая мимо окон — двух

окон столовой, — Артур не сводил с них печального взгляда. В большинстве случаев Жюли, не обращавшая на молодого человека никакого внимания, просто не замечала его; зато маркиза была одержима тем суетным любопытством, с которым в провинции следят за любой мелочью, чтобы чем-нибудь разнообразить своё существование, и от которого нелегко уберечься даже людям большого ума; старуху забавляла робкая и искренняя любовь, любовь, выражаемая безмолвно. Видеть Артура в определённые часы стало для неё привычкой, и всякий раз она приветствовала его появление новыми шутками.

Садясь за стол, обе женщины одновременно посмотрели на островитянина. На этот раз глаза Жюли и Артура встретились, и она прочла в его взгляде столько чувства, что вспыхнула. А он тотчас же хлестнул лошадь и умчался галопом.

— Скажите, сударыня, что же делать? — обратилась Жюли к маркизе. — Люди каждый день видят этого англичанина и в конце концов решат, что я...

— Разумеется, — ответила тётка, прерывая её.

— Не сказать ли ему, чтобы он не смел больше здесь появляться?

— И навести его на мысль, что он опасен? Да и как можно помешать человеку появляться там, куда его влечёт? С завтрашнего дня мы не станем

есть в этой комнате, и ваш молодой вздыхатель больше нас здесь не увидит. Вот как, моя милая, поступают светские женщины, умудрённые опытом.

Но на этом несчастья Жюли не кончились. Не успела она встать из-за стола, как неожиданно появился лакей Виктора. Он во весь опор мчался из Буржа окольными дорогами и привёз графине письмо от мужа. Г-н д'Эглемон покинул императора и сообщал жене о том, что Империя пала, что Париж взят и вся Франция восторженно чествует Бурбонов. Однако, не зная, как добраться до Тура, он просил её немедленно приехать к нему в Орлеан, где он надеялся добыть для неё пропуск. Лакей, бывший солдат, должен был сопровождать Жюли от Тура до Орлеана по дороге, которая — так считал Виктор — была ещё свободна.

— Ваше сиятельство, нельзя терять ни секунды, — торопил лакей, — прусская, австрийская и английская армии вот-вот сойдутся возле Блуа либо под Орлеаном...

Через несколько часов Жюли собралась в дорогу и уехала в старом рыдване, который отдала в её распоряжение тётка.

— Почему бы и вам не поехать в Париж? — сказала она, целуя на прощание маркизу. — Теперь, когда возвращаются Бурбоны, вы там найдёте...

— Да и не будь этого нежданного события, я

бы поехала, бедная моя детка, ибо мои советы очень нужны и вам и Виктору. Поэтому я сделаю всё, чтобы поскорее приехать к вам туда.

Жюли выехала в сопровождении горничной и старого солдата, который скакал рядом с каретой, охраняя свою госпожу. Ночью, остановившись на почтовой станции, не доежая Блуа, Жюли, встревоженная шумом колёс какого-то экипажа, который ехал следом за ними от самого Амбуаза, выглянула в дверцу, чтобы посмотреть, кто же её спутники. Светила луна, и Жюли увидела Артура. Он стоял в трёх шагах от дверцы кареты и не сводил с неё глаз. Их взгляды встретились. Жюли отпрянула в глубь кареты, дрожа от страха. Как почти все неопытные молодые женщины, поистине чистые душой, она считала себя виновной в том, что невольно внушила любовь. Она испытывала какой-то непонятный ужас, вероятно, чувствовала, как она бессильна перед таким смелым натиском. Мужчина — и в этом самое его сильное оружие — обладает опасным преимуществом: занимать собою все помыслы женщины, если её воображение, живое по природе своей, испугано или оскорблено преследованием. Графиня вспомнила совет г-жи де Листомэр и решила всю дорогу не выходить из кареты. Но на каждой станции она слышала шаги англичанина, который медленно прохаживался вокруг карет, а в пути назойливый шум колёс его

экипажа беспрерывно раздавался в её ушах. Однако Жюли успокаивала себя тем, что муж защитит её от странного преследования.

«А может быть, молодой человек вовсе не влюблён в меня?»

Об этом она подумала в последнюю очередь.

В Орлеане пруссаки задержали карету графини, направили на какой-то постоянный двор и приставили к ней караул. Перечить им было невозможно. Они знаками объясняли всем путешественникам, что получен строжайший приказ никого не выпускать из карет. Около двух часов графиня, заливаясь слезами, провела пленницей; солдаты, которые пересмеивались и курили, то и дело поглядывали на неё с оскорбительным любопытством; но вдруг она увидела, что они с почтительным видом отходят от её экипажа, и услышала топот лошадей. Вскоре несколько иностранных офицеров в больших чинах во главе с австрийским генералом окружило карету.

— Сударыня, — обратился к Жюли генерал, — примите наши извинения; произошла ошибка, вы можете безбоязненно продолжать путешествие. Вот вам пропуск, он предохранит вас в дальнейшем от всяких неприятностей.

Графиня, дрожа, взяла бумагу и пролепетала что-то бессвязное. Рядом с генералом она увидела Артура в форме английского офицера; ему-то,

разумеется, она и была обязана своим быстрым освобождением. Что-то радостное и вместе с тем печальное было в его лице, когда он отвернулся, лишь украдкой осмеливаясь бросать взгляды на Жюли. С этим пропуском г-жа д'Эглемон приехала в Париж без всяких неприятных происшествий. Там её встретил муж; он был свободен от присяги императору, и его обласкал брат Людовика XVIII, граф д'Артуа, которого король назначил своим наместником. Виктор д'Эглемон занял высокое положение в королевском конвое и получил чин генерала.

Но в самый разгар празднеств в честь возвращения Бурбонов бедную Жюли постигло глубокое горе, повлиявшее на всю её жизнь: она потеряла маркизу де Листомэр-Ландон. Старуха умерла от радости: её разбил удар, когда герцог Ангулемский появился в Туре. Женщина, чей преклонный возраст давал право поучать Виктора, единственная родственница, чьи мудрые советы могли привести супругов к согласию, умерла. Для Жюли это была тяжёлая утрата. Не осталось посредника между нею и мужем. Она была молода, застенчива и предпочитала переносить страдания молча, лишь бы не жаловаться. Она считала своей обязанностью во всём покоряться мужу и не осмеливалась доискиваться причины своих мучений, ибо покончить с ними означало бы

затронуть слишком интимные вопросы: Жюли боялась, что её целомудрие будет оскорблено.

Следует сказать несколько слов о том, как сложилась судьба г-на д'Эглемона при Реставрации.

Разве мы не встречаем в свете людей, полное ничтожество которых — тайна для окружающих? Высокое положение в обществе, знатное происхождение, важная должность, внешний лоск, сдержанность в поведении или власть богатства — всё это завеса, мешающая наблюдателю вникнуть в их внутренний мир. Люди эти походят на королей, о настоящей роли которых, о характере и нравах никому доподлинно не известно: королей нельзя правильно оценить, ибо их видят или издалека, или чересчур уж на близком расстоянии. Личности эти наделены мнимыми достоинствами; они не разговаривают, а выпрашивают, владеют искусством выдвигать на авансцену других, чтобы самим не быть на виду; они с удивительной ловкостью дёргают каждого за ниточку его страстей или корыстолюбия и таким образом играют окружающими, превращая их в марионеток, а когда им удаётся унижить некоторых до себя, считают ничтожеством тех, кто в действительности стоит гораздо выше их. Так одерживает подлинное торжество ум мелкий, но цепкий над умами великими и всеобъемлющими. Поэтому, чтобы

судить о бездарностях и определять их отрицательную ценность, наблюдателю надобно обладать умом скорее тонким, нежели глубоким, скорее терпением, нежели широким кругозором, скорее хитростью и тактом, нежели благородством и величием мысли. Невзирая, однако, на изворотливость, которую проявляют эти узурпаторы, прикрывая свои слабости, им трудно обмануть своих жён, матерей, детей или друга дома; но близкие почти всегда хранят тайну, ибо она до некоторой степени касается их общей чести; нередко близкие даже помогают им поддерживать их мнимое достоинство в свете. Благодаря таким домашним сговорам многие глупцы слывут людьми высокого ума, и этим уравнивается количество людей высокого ума, слывущих глупцами; таким образом, в обществе всегда полным-полно мнимых талантов. Теперь подумайте о той роли, которую должна играть женщина умная и чувствительная рядом с мужем, принадлежащим к такой породе людей; не приходилось ли вам замечать женщин самоотверженных и печальных, которым ничто здесь, на земле, не может заменить любящее и верное сердце? Если в такое ужасное положение попадает женщина сильная духом, то она иногда находит выход в преступлении, что и сделала Екатерина II, всё же прозванная *Великой*. Но не все женщины восседают на троне; большинство

обречено на горести в кругу семьи, и горести эти ужасны, хотя и остаются безвестными. Те женщины, которые ищут утешения и в то же время желают остаться верными своему долгу, часто попадают из огня да в полымя или же совершают тяжкие проступки, попирая законы ради своих удовольствий. Рассуждения эти весьма применимы к тайной истории жизни Жюли. Пока Наполеон был ещё в силе, полковник граф д'Эглемон, примерный, но ничем не выдающийся офицер, адъютант, превосходно выполнявший даже самые опасные поручения, но совершенно не способный командовать, не возбуждал ничьей зависти, слыл за храбреца, к которому благоволил император, и был, как попросту говорят военные, добрым малым. Реставрация вернула ему титул маркиза, и д'Эглемон не оказался неблагодарным: он бежал вместе с Бурбонами в Гент. Эта последовательность в проявлении верноподданнических чувств опровергла гороскоп, составленный его тестем и предрекавший ему до конца жизни чин полковника. После вторичного возвращения Бурбонов г-н д'Эглемон, произведённый в генерал-лейтенанты и вновь ставший маркизом, возымел честолюбивое намерение добиться пэрства; он стал разделять убеждения и политическое направление газеты «Консерватор», облёкся в таинственность, ничего ровно не скрывавшую, заважничал, выпрашивал, а

сам отмалчивался и всеми был признан за человека глубокомысленного. Он держался весьма учтиво, вооружился приёмами светского щеголя, схватывал и повторял готовые фразы, которые постоянно штампуются в Париже и служат для глупцов разменной монетой при оценке крупных идей и событий. В свете решили, что маркиз д'Эглемон — человек образованный и со вкусом. Он был упорным сторонником аристократических предрассудков, и его приводили в пример как человека весьма достойного. Если он иной раз становился, как прежде, беспечным и весёлым, в обществе находили, что за его пустой, вздорной болтовнёй и бессмысленными речами таится важный дипломатический смысл.

«Ну, он говорит только то, что считает нужным сказать», — думали люди положительные.

Маркиз д'Эглемон отлично пользовался не только своими достоинствами, но и недостатками. Отвага принесла ему военную славу, и её ничто не могло опровергнуть, потому что ему никогда не доводилось командовать. Мужественное и благородное лицо его всем казалось умным, и лишь для жены оно было лицемерной маской. Слыша, что все воздают хвалу его мнимым талантам, маркиз д'Эглемон в конце концов и сам возомнил себя замечательным человеком. При дворе, где благодаря своей наружности он сумел понравиться,

разнообразные его заслуги были признаны бесспорными.

Однако у себя дома г-н д'Эглемон держался скромно, ибо всем своим существом чувствовал превосходство жены, невзирая на её молодость. Это невольное уважение породило ту скрытую власть, которую маркизе пришлось взять на себя, как ни пыталась она отбросить её бремя. Она была советчицей мужа, управляла его делами и состоянием. Это влияние, противное её натуре, было для неё своего рода унижением и источником терзаний, которые она затаила в своём сердце. Тонкое, чисто женское чутьё говорило ей, что гораздо лучше повиноваться человеку одарённому, нежели руководить глупцом, и что молодая супруга, принужденная действовать и думать за мужа, — ни женщина, ни мужчина, что, отрекаясь от своей злополучной женской слабости, она вместе с тем теряет и всю свою женственную прелесть, не получая взамен ни одного преимущества, которые наши законы предоставили мужчинам. Само существование её таило в себе какую-то горькую насмешку. Ведь она была вынуждена поклоняться бездушному идолу, покровительствовать своему покровителю, пустому фату, который вместо вознаграждения за её самоотверженность бросал ей свою эгоистическую супружескую любовь, видел в ней лишь женщину, не соблаговолил или не сумел

— а это тоже тяжкое оскорбление — спросить себя, в чём её радости или в чём причина её печали, упадка сил? Как большинство тех мужей, которые чувствуют, что над ними тяготеет ум более возвышенный, маркиз искал спасения для своего самолюбия в том, что пытался заключить по физической слабости Жюли о её слабости духовной, охотно жалел её и спрашивал себя, за что судьба послала ему в жены столь болезненное создание. Словом, он прикидывался жертвой, а был палачом. Маркизе, удручённой печальным своим существованием, вдобавок ко всему приходилось улыбаться глупому повелителю, украшать цветами унылый дом и изображать счастье на лице, побледневшем от скрытых мук. Чувство чести, великодушное самоотречение неприметно наделили молодую женщину достоинством, сознанием добродетели, служившим ей защитой против опасностей света. Если мы проникнем в эту душу до дна, то увидим, что, быть может, затаённое глубокое горе, которым увенчалась её первая, её чистая девичья любовь, внушило ей отвращение к страстям; быть может, поэтому не познала она ни увлечения, ни запретных, но упоительных радостей, заставляющих иных женщин забыть правила житейской мудрости и устои добродетели, на которых зиждется общество. Разуверившись, как в несбыточной мечте, в той нежности, в той

сладостной гармонии, которые пророчила ей умудрённая опытом г-жа Листомэр-Ландон, она покорно ждала конца своих страданий, надеясь умереть молодой. С тех пор как Жюли вернулась из Турени, здоровье её с каждым днём становилось всё хуже, и ей казалось, что жизнь — это сплошные страдания; впрочем, что-то изысканное было в её страданиях, что-то изнеженное было в её недуге, и поверхностным людям могло показаться, что всё это прихоть кокетки. Врачи не разрешали ей вставать, и она целыми днями лежала на диване и увядала, как цветы, украшавшие её комнату. Она так ослабела, что не могла ходить, не могла бывать на свежем воздухе; она выезжала только в закрытой карете. Её окружала роскошь — чудесные творения современной промышленности; казалось, это не больная, а королева, равнодушная ко всему на свете. Друзья, быть может, тронутые её несчастьем и слабостью, уверенные, что всегда застанут её дома и что за внимание им воздастся, когда она поправится, приходили к ней с новостями и рассказывали о всякой всячине, вносящей столько разнообразия в жизнь парижан! Её душевная подавленность, глубокая, искренняя, всё же была подавленностью женщины, живущей в роскоши. Маркиза д'Эглемон походила на прекрасный цветок, корень которого подтачивает вредное насекомое. Иногда она появлялась в свете, но не

потому, что ей хотелось этого, а так было надобно для честолюбивых притязаний мужа. Её голос и умение петь могли бы вызвать рукоплескания, — а это всегда льстит молодой женщине, — но к чему ей были светские успехи? Они ничего не говорили ни душе её, ни надеждам. Её муж музыки не любил. Она всегда чувствовала себя неловко в гостиных, где её красота вызывала поклонение и какое-то назойливое участие. Состояние её возбуждало в свете нечто вроде жестокой жалости, обидного любопытства. Она была поражена тем недугом, зачастую смертельным, о котором женщины говорят друг другу на ухо и для наименования которого в нашем языке ещё не появилось слова. Несмотря на завесу молчания, скрывавшую семейную жизнь маркизы д'Эглемон, причина её болезни ни для кого не была тайной. В Жюли сохранилось что-то девичье, несмотря на замужество; нескромный взгляд мог повергнуть её в смущение. Чтобы никто не подметил, как она краснеет, Жюли всегда старалась быть оживлённой, но веселье её было напускным; она всем твердила, что чувствует себя отлично, или стыдливо предупреждала вопросы о её здоровье какой-нибудь выдумкой. Меж тем в 1817 году одно событие весьма скрасило плачевное положение, в котором находилась Жюли д'Эглемон. У неё родилась дочь, и она захотела кормить её сама. Два года